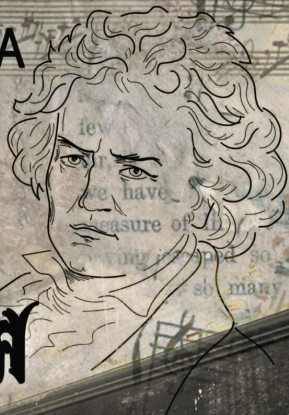


ТАМАРА ШАРКОВА

105
нахтов
ожугакья



Тамара Шаркова

105 тактов ожидания

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70554718

SelfPub; 2024

Аннотация

Тревожный 1952 год. Провинциальный советский город. Атмосфера политических доносов и антисемитизма. Татка Костенко (героиня повести «Санатория-Евпатория») учится в шестом классе и одновременно заканчивает музыкальную школу. Из-за служебных неприятностей отца она вынуждена жить без родителей в семье его фронтового друга. Татка мечтает сыграть на выпускном экзамене Первый концерт Бетховена. Ее вдохновляет игра известного пианиста Святослава Рихтера, с которым она познакомилась на концерте. Но сможет ли Татка исполнить свою мечту? Её любимая учительница тяжело больна, а в квартире у майора нет пианино.

Тамара Шаркова

105 тактов ожидания

«Люблю больше всего Первый концерт (Бетховена). Когда я слышу оркестровое вступление, меня охватывает чувство ни с чем не сравнимое, будто открылось нечто светлое, прекрасное... " О Житомире: «Здесь мир преисполнен феями, духами, ангелами, кругом – лес, озеро, цветы».

Святослав Рихтер.

Я бегу через весь Студенческий переулок от Пушкинской до Лермонтовского спуска. Я спешу на урок музыки.

За дощатыми изгородями в тени садов прячутся одноэтажные особняки. Густой от запахов и жужжания насекомых воздух насыщен ароматом «медка», радужных флоксов и пряным запахом помидорной зелени. На небольшом пустыре между домами среди зарослей чертополоха, сныти и лопухов догорают костры Иван-чая. Июль. Верхушка лета.

Безрогая коза Белка с отвратительным характером рысцой приближается ко мне с намерением боднуть или ущипнуть непременно за сбитые коленки. Эти вечные болячки – плата за игру в круговой волейбол со студентами, которые

здесь снимают «углы» в каждом доме. Недалеко от нас Пединститут. Совсем недавно, когда я спасала мячи не столько из необходимости, сколько из-за желания получить одобрение взрослых игроков, моя лучшая подруга Нина Книппер срывала для меня подорожник и помогала плевать на него, чтобы он лучше приставал к ссадинам. Нина не была тщеславной и на игру со студентами не напрашивалась.

Сейчас нет ни волейбола, ни Нины. Студенты или разъехались по домам, или сдают последние экзамены. Нина с мамой и бабушкой переехала на другой конец города. Олега – нашего третьего мушкетера— тоже нет. Он уехал еще дальше, чем Нина, – в другой город. И мама моя уехала в Москву, где в госпитале лечится папа. Остались только мы с Лизаветой, нашей домработницей. Вечером она, как всегда, уйдет на свидание к Серёжке- милиционеру, и, когда я возвращусь после урока, меня будут ждать только «вождь семиолов»,* «Сын Рыбакова» по радио и, может быть, Первый Концерт Бетховена.

Но вот и Лермонтовская улица, которая круто сбегает вниз. Это настоящий горный оползень из разнокалиберных булыжников. Он упирается в красивую ограду старинной водолечебницы – гордости города Житина.

Я перебегаю улицу и тороплюсь по Бульварному переулку к заветному дому, где живет моя старенькая учительница Софья Евсеевна Гриневич. У нее подагра и радикулит,

в музыкальную школу ей добираться очень нелегко, и потому ученики часто приходят заниматься к ней на дом. В нем жил еще ее отец – настройщик музыкальных инструментов и домашний педагог. Маленький белёный кирпичный домик выходит на улицу четырьмя окошками с резными ставнями. Сбоку к нему приставлена, как ухо, высокая коричнево-красная калитка, ведущая в крошечный садик.

Перед дверью, справа от скребка, прибиты три подковы. Дергаю за проволочную петлю, свисающую с железного костыля, и где-то внутри дома раздаётся привычный для меня скрежет и звяканье. Жду долго. Наконец, дверь распахивается, и сам пан Казимир Гриневич в серой тройке при галстукке галантно предлагает мне войти. Вот когда я жалею, что мое короткое платьице не закрывает разбитых колен!

В полутьме длинного коридора привычной дорогой иду в гостиную. Слева – дверь в кухню, где сегодня, судя по звукам, какое-то необычное оживление. А справа – та самая загадочная комната, где живет семейное чудище, «неудачный сын Стас». За все время мне удалось увидеть его всего два раза. Однажды я ожидала Софью Евсеевну и, сидя на круглом табурете, вытягивала, как гусыня, шею, чтобы лучше разглядеть семейные фотографии, развешанные на стенах. Расхаживать по комнате я не решалась, так как за стеной слышалось громкое цокание и пришептывание пана Казимира, говорящего по-польски. Вдруг дверь открылась, и из кабинета выскочил коренастый очень похожий на мою учи-

тельницу молодой человек. Он был светло-рыжий, и курчавые волосы его росли, казалось, от самых бровей. И пахло от него, как от Лезинового милиционера... в праздники.

Весь урок после этого Софью Евсеевна молча просидела с прижатым к лицу платком, как будто у нее сразу же разболелись все зубы. И только, когда я уж очень «навирала», она стонала и знаками предлагала мне освободить клавиатуру, чтобы самой проиграть неудавшееся место.

Во второй раз Стас внезапно зашел в гостиную во время урока, требовательно позвал «мама!», и старушка, повязанная в поясище шерстяным платком, безропотно подняла себя со стула и поковыляла навстречу сыну.

Лучше бы я вовсе с ним не встречалась! Я думала, что он какой-нибудь ужасный горбун, похожий на Квазимодо или, наоборот, прекрасный, но слепой юноша, как в книге писателя Короленко. Я же столько романтических историй о нем придумала! А он рыжий коротышка и грубиян!

В гостиной, где стоит рояль, как всегда сумрачно. Солнечный свет пока дойдет сюда, сначала блуждает в тополиной листве, потом протискивается через маленькие окна с двойными рамами, и у него едва хватает сил, чтобы упасть блеклым пятном на вытертый от времени бархат диванных подушек. Потому в комнате во время занятий всегда горит свет.

В ожидании урока принимаюсь раскладывать ноты на пюпитре.

—Тата, девочка, здравствуй!

Из коридора появляется необычно оживленная Софья Евсеевна в выходном синем платье с белым кружевным воротником, скрепленным любимой камеей. Поверх него накинут кухонный фартук.

—Ты уж извини меня, но сегодня занятие отменяется. Приехала Еля из Москвы, привезла Аннусю на весь август, а сама завтра уезжает на гастроли.

Еля...Елена Казимировна Гриневич – московская пианистка. Я знаю ее по фотографиям, развешенным по стенам гостиной. Тоненькой девочкой в балетной пачке, девушкой, сидящей за роялем в белой строгой блузке и, наконец, совсем взрослой – с дочкой на коленях.

Большинство семейных снимков, украшающих стены, собраны в композиции, обрамленные тонкими деревянными рамками. И только две фотографии висят рядом, но отдельно друг о друга. На одной дети играют на рояле в четыре руки. В девочке легко узнается Еля, хотя искусно завитые локоны почти полностью скрывают ее нежный профиль. Рядом с ней сидит большелобый мальчик. Его пальцы энергично погружены в клавиши, а Елины руки – подняты. И мне кажется, я слышу низкое звучание того аккорда, который сорвал с клавиатуры и поднял в воздух невесомые кисти девочки.

На другой фотографии этот мальчик, уже юношей, играет на рояле один. Я узнаю его по крупной голове, по изгибу сильной спины и, конечно же, по рукам, умеющим извлекать звуки, которые слышны даже с фотографии.

Еля сидит чуть сбоку, подавшись вперед, и тонкие пальцы ее тянутся к страницам нот. Между тем пианист вовсе не смотрит в них. Он сидит, запрокинув голову, и отрешенно глядит куда-то вверх.

—Но ты не огорчайся, – вернул меня к действительности голос Софьи Евсеевны. – Придешь ко мне ну, скажем, через неделю. А сейчас пойдем в сад. Я познакомлю тебя с Аннусей. Ноты оставь пока здесь. И скажи мне, девочка, есть ли новости от твоих родных.

—Как всегда, – вздыхаю я. – Мама в Москве, пишет, что папу какие-то серьезные дела задержат там еще надолго, а брат и сестра на практике.

Мы проходим мимо комнаты Стаса, но теперь я даже не вспоминаю о нем. Я вся ожидание удивительного знакомства. Нет! Не с Аннусей! Что мне до нее! Но там, наверное, и Елена Гриневич, настоящая пианистка, которая даже по радио выступает!!

Однако, в крошечном садике, состоящем из маленькой клумбы с цветами и трех яблонек, выросших в землю от старости, меня ждало разочарование в лице худенькой большеротой девочки. Она была одна и, пританцовывая, обегала клумбу, отбивая от земли большой красно-белый мяч, то правой, то левой рукой.

—Давай в волейбол! – предложила она, едва ее бабушка представила нас друг другу.

Играть в волейбол та-аким мячом и в таком наряде? Я пожимаю плечами. Мяч сдут, а платье у этой принцессы – сплошные нежно-розовые оборки!

А на ногах?! Белые туфельки и такие же носки!

Но Софью Евсеевну беспокоит не это.

— Аннуся! – говорит она, умоляюще складывая перед собой ладони. – Руки! Никакого волейбола! Только ловить!

— Ладно, Буся! – поспешно соглашается девочка, – только ты иди, иди! Мы с Таней сами разберемся.

Эта Аннуся не похожа ни на одну из моих подруг. На целый год меня младше, а держится со мной, как с малолетним ребенком. Бесцеремонно задает вопросы и какие! «Не нудно ли мне заниматься с бабулей?» «Завиваю ли я волосы надо лбом или они выются у меня от природы?» «Читала ли я Золя?» «Нет?!» «Неужели? Даже «Дамское счастье»?!» И все в таком же роде.

Но что со мной? Я не только отвечаю этой кривляке, но даже делаю это откровенней, чем надо. Проклинаю свою болтливость, хочу уйти, а вместо этого бегаю за мячиком, бросаю его, опять бегаю или ловлю.

Наконец Аннусе надоедает игра, и она тащит меня в дом.

«Заберу ноты и сразу же уйду», – думаю я, но не тут-то было.

Девчонка уже за роялем. Одной рукой листает Черни, другой наигрывает знакомые ей места.

—Эту тетрадь* мы еще в прошлом году закончили, — комментирует она, — а это что, такое потертое? А... Иоганн — Себастьян. Нравится?

И тут мое «я», так странно оробевшее в присутствии бойкой Аннуси, очнулось и перешло в наступление.

—Во-первых, Иоганн-Себастьян Бах с тобой чаи не распивал, — сердито отвечаю я, заталкивая ноты в папку. — Во-вторых, важно, не только, что, но и как играешь. А в-третьих, мне домой пора, так что развлекайся сама!

—Фи! — услышала я, когда, кинув в пространство — «до свидания!», мчалась к выходной двери.

Нет! Приходить сюда и выносить на суд этой столичной девчонки свою игру, отдать на растерзание ее бойкому язычку моего Бетховена? Ни-ко-гда!

Выбежав от Гриневичей, я не пошла домой, а спустилась по бульвару в парк над рекой. Там у скульптуры Дианы-охотницы* была моя любимая скамейка. Тропинка, ведущая к ней, раздвигала кусты над самым обрывом, и была видна наша быстрая неширокая речка Тетерев, змейкой раздвигающая серые и черные скалы. Один из гранитных утесов на дальнем ее повороте назывался «Голова Чацкого». Туда часто ходили купаться студенты. И по утрам слышно было, как в нашем переулке они звали друг — друга: «Эй, пошли на «Головочацкого»! Называли скалу одним словом. О том, кто такой Чацкий, я узнала только в четвертом классе от брата, но

долго еще не могла найти такое место на крутом берегу, с которого скала была бы похожа на профиль человека. И, наконец, нашла. На этой скамейке.

Я там долго сидела, привыкала к мысли, что наша встреча с Софьей Евсеевной откладывается. Оставалась только надежда, что она не забудет отыскать в своем архиве переложение Бетховенского Концерта и что мне будет по силам его сыграть.

Дома меня ожидало старинное пианино фирмы Циммерман, с канделябрами, консолями в виде причудливых деревянных завитков и пожелтевшими клавишами из слоновой кости. Оно было не просто музыкальным инструментом. Это было живое существо, которое обладало собственным вкусом. Оно помогало мне расплетать голоса в фугах Баха и подсовывало фальшивые ноты, когда я пыталась подбирать какие-нибудь современные мотивы. По несколько раз в день мы ссорились и мирились, но я уверена, что летняя разлука со мной его огорчала.

Когда после новогодних каникул я открыла книгу Романа Роллана «Жизнь Бетховена», то поняла, что невозможно читать ее за письменным столом и стала пристраивать книгу на пюпитре. Какие-то страницы я читала вслух. Специально для пианино.

Книга была тоненькой, в потертой на углах желтовато-бежевой обложке и издана Музгизом еще до войны. Когда мне было 9 лет, мы в музыкальной школе уже «проходили» био-

графию Бетховена, но что можно требовать от ребенка в таком возрасте. А в прошлую Новогоднюю ночь, когда мне исполнилось одиннадцать лет, брат торжественно объявил, что я вступила в возраст отрочества. Под утро мы с Нинкой традиционно улеглись под Новогодней ёлкой, но я еще долго не давала ей заснуть. Нина была старше меня почти на год, и я пыталась узнать, что нового с ней произошло за это самое отрочество.

— Я кашу с молоком разлюбила! Оставь меня в покое! — сердито ответила моя обычно терпеливая подруга. — У меня уже глаза слипаются.

Так я ничего от нее не добилась и немного обиделась. И совершенно напрасно. Теперь мне двенадцать, и я понимаю, чем старше становишься, тем труднее бывает разобраться, что с тобой происходит и рассказать об этом тоже не знаешь как.

До того, как мне в руки попала книга Ромена Роллана, я отдельно любила Лунную сонату, с удовольствием играла багатель «К Элизе», пела «Сурка» и знала, что Бетховен к концу жизни стал глухим. И в то же самое время я очень переживала за своего любимого дядю Никиту — сельского учителя и музыканта-любителя, который после войны утратил слух. И вдруг вот все это во мне перемешалось. Я представила себе грустного дядю Никиту с медиатором* в пальцах, который прижался щекой к мандолине, а услышала не народную песню про «крыныченьку», а тему судьбы из до-минорной*

симфонии. Тут я прочитала, что Бетховен посвятил эту симфонию русскому посланнику в Вене Андрею Кирилловичу Разумовскому, и у меня просто дух перехватило!

Дворец, построенный архитектором Кваренги для графа Кирилла Разумовского и его сына Андрея, находится буквально в двух шагах от дедушкиного дома, где живет дядя Никита! Да-да! В двух шагах! Мой дедушка был садовником в имении помещика Кочубея. Дворец графа Разумовского и деревянный домик дяди Никиты в Кочубеевском парке стоят почти рядом на высоком берегу быстрой реки Сейм в бывшей гетманской столице Батурине.

И вот Людвиг ван Бетховен уже перестал быть для меня просто классиком из далекого прошлого! Я стала переживать за него, как за близкого человека, с которым случилась беда, и, чтобы его утешить, даже принялась придумывать письма от имени племянника Карла:

«Мой дорогой, мой добрый дядюшка! Признаю, что я своим поведением не заслужил твоей заботливости! Но я люблю тебя от всей глубины своего сердца и надеюсь стать тебе истинным сыном. Твой беспутный, но любящий сын Карл».

У меня появилась нотная папка с портретом Бетховена, а на письменном столе – гравюра, на которой Бетховен, заложив руки за спину, идет по аллее парка, не обращая внимания на расступившуюся свиту придворных герцога Веймарского. А перед каникулами Софья Евсеевна сказала, что на выпускном экзамене я могла бы сыграть Первый Бетховен-

ский концерт!

К Софье Евсеевне я не приходила до самого сентября. Это был самый грустный август в моей жизни. Телефон нам «отрезали», как выразилась Лиза. Мама, по-прежнему, присылала из Москвы короткие открытки, из которых я ничего не могла понять: ни что с папой, ни то, почему я должна жить в разлуке с ними.

А мне вспоминался этот месяц как самое прекрасное время лета, когда наша семья собиралась вместе. Приезжали на каникулы сестра и брат – студенты – и обязательно с друзьями. Вечерами накрывали стол на веранде. Между шершавыми листьями дикого хмеля китайскими фонариками нежно светились его салатовые шишки, и сквозь этот узорчатый зеленый полог видно было бездонное ультрамариновое небо с большими и яркими южными звездами. Студенты пели военные песни о «печурке в землянке», «синем платочке», летчиках, которые летели «на честном слове и на одном крыле» и новые загадочные песни о «лимонном Сингапуре». А в минуты тишины слышно было, как в траву падают тяжелые краснобокие яблоки и звенят цикады. В этом году август смялся и улетел из памяти рано пожелтевшим листом.

Перед первым сентября я попросила Лизавету найти мою школьную форму, которая хранилась с зимней одеждой, и посмотреть, все ли с ней в порядке. Она вынула ее из стен-

ного шкафа и бросила мне на кровать со словами:

— Я в двенадцать лет сама себя обшивала и на кусок хлеба зарабатывала, а ты воротничок не можешь пришить. Так учись! Мамочки-папочки долго не дождешься!

Карие глаза-буравчики на веснушчатом лице Лизаветы смотрели на меня с непонятным злорадством.

Форма так и пролежала на кровати до вечера, а я убежала в сад и залезла на мой любимый столетний орех, когда-то расколотый молнией пополам. На его толстой ветке я долго лежала, пока не выплакалась. Лиза звала меня обедать, но я не откликнулась. Тогда она сказала:

— Небось скоро гордость в карман спрячешь, – и ушла из дому.

С Лизой дружбы у нас никогда не было. Она была домработницей у прежних жильцов, и папе на службе почему-то настоятельно рекомендовали ее оставить. Мама удивлялась: «Зачем мне помощница? Какое такое у нас хозяйство?» Но папа только руками разводил:

— Сказали, что теперь при моей должности так положено.

— Приглядывать за тобой? – насмешливо спросила мама, но папа не ответил.

Лиза была старше меня почти в три раза, но часто вела себя как моя ровесница. В тридцать втором году она осталась без семьи, все умерли от голода. Лизавета ужасно боялась возвратиться в деревню и мечтала выйти замуж за «го-

родского с жилплощадью». Вот только женихов она искала не там, где нужно. Ей нравились лихие парни в синей форменной одежде с красными погонями, милиционеры. Прописка-то у них была городская, а вот кровать – в общежитии.

К моим родителям Лиза относилась с подчеркнутым уважением, а во мне видела соперницу. Она знала, что папа начинал свою жизнь сиротой и беспризорником, а мама, хотя и была дочерью садовника, но тоже рано осиротела и выросла в деревне. То, что они, благодаря собственным способностям, «вышли в люди» и стали городскими казалось ей справедливым. Но я-то появилась на все готовенькое! Было обидно, но я понимала, что в чем-то она права. Кто объяснит, почему у нее отняли благополучное детство, а мне – оставили.

Вечером, когда Лиза ушла, я примерила коричневое платье, и оказалось, что его подол не достает до колен чуть ли не на две ладони. Так я выросла. Хорошо, что портниха Казимира Павловна, которая шила его для меня в прошлом году, сделала большой запас. Я нашла в телефонной книжке ее номер, но потом вспомнила, что звонить-то неоткуда. Раньше Казимира Павловна приходила к нам несколько раз в год по маминой просьбе. Снимала мерки с меня и сестры, когда та приезжала из Киева на каникулы, и шила нам платья на лето, а мне еще и коричневую форму к сентябрю. Мне в приятели доставался её гундосый сын семиклассник Вадька, который всегда приходил вместе с матерью. Я третировала

его, как могла, потому, что он был ужасно скучным и всегда что-то выпрашивал: ластик, цветной карандаш, тетрадку или даже обычное перо «жабку». Правда, с ним интересно было играть в «города». К тому же, если я приходила в азарт и, чтобы выиграть, выдумывала несуществующие города, он мне уступал.

Старший брат Вадика учился в Ленинградской мореходке. Когда я была во втором классе, он узнал, что я готовлюсь стать «капитаном дальнего странствия» и не стал надо мной смеяться, как это делал мой единокровный брат. Курсант подарил мне свою капитанку, тельняшку и настоящий гюйс. Я водрузила на могучем грецком орехе в саду старое рулевое колесо от Оппель-адмирала и устроила настоящий капитанский мостик. Там же в дупле лежал наш с Олежкой судовой журнал. Мы, два отважных капитана, столько морей объехали и столько стран повидали!

Что касается моей лучшей подруги Нины, то залезать на орех она

категорически отказалась, но принесла нам Атлас мира из библиотеки, где работала ее мама. Нина предпочитала обу-страивать нашу с ней хижину среди древовидных сиреней, откуда мы, Робинзон и Пятница, делали вылазки и охотились с самодельными луками на яблоки, огурцы и другие «дикие» овощи.

Где ты, Олег? Где ты, мой верный «Пятница» Нина?
И почему мама и папа оставили меня одну?

Зареванная, с любимым «Таинственным островом» в объ-
ятьях, я заснула за полночь, не выключив лампу. Лизавету я
так и не дождалась.

С формой все уладилось. Заглянула за мукой наша сосед-
ка тетя Марина, спросила о маме, показала, как подшить по-
дол платья. Потом с ее старшей дочерью Лесей из девятого-а
мы вместе пошли на Карла-Маркса и купили тетрадки и пер-
ышки с номером семьдесят два. Осталось только выстирать
и отгладить штапельный красный галстук. Таких галстуков
в классе было немного, у большинства были сатиновые. Они
лежали на шее, как хомут, и кончики у них свивались в тру-
бочку. Только у одной девочки в классе галстук был шелко-
вым – у Жанны Терашкевич. Отчим привез его из Риги, а у
нас в городе такие не продавались.

Букет для англичанки, новой классной, я собрала из на-
ших роскошных садовых георгин. Мама их обожала и много
клубней привезла из города Чернигова, где мы жили до это-
го, из сада Хомы Коцюбинского – селекционера и брата зна-
менитого украинского писателя. У Хомы Михайловича даже
пальма в саду росла. В кадке. На зиму ее вносили в дом.

В то первое сентябрьское утро я была почти счастлива,
когда спешила к любимой четырнадцатой школе. Она была

от нашего Студенческого переулка довольно далеко. Зимой приходилось выходить из дому за час до занятий. Здание было двухэтажным, с печным отоплением и туалетом во дворе. Но зато это была женская школа-десятилетка.

До официального построения учеников в большом школьном дворе все было, как обычно. Все *мерялись*, кто как вырос. Показывали друг другу, какие учебники удалось купить на черном рынке или достать у старшеклассников. Мне почти все учебники перешли по наследству от брата, который был на шесть лет старше.

Линейка тоже прошла, как всегда: с выносом школьного знамени, Первым звонком и призывом к пионерам «К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!», на который все дружно отвечали – «Всегда готовы!», и вскидывали руку над головой. Мне казалось, что это клятва всегда отважно защищать все хорошее и доброе и сражаться за справедливость. И я кричала вместе со всеми так громко, как могла.

Но постепенно, еще не доверяя себе, я стала понимать, что лично для меня в школе начались бо-ольшие перемены.

На то, что меня пересадили на последнюю парту я особого внимания не обратила. Сидеть перед учительским столом мне не нравилось. Странно было лишь то, что Галя Ломберт, которая в четвертой четверти стала моей соседкой вместо Нины Книттер, ко мне даже не подошла ни до уроков, ни на переменах. Сама я несколько раз порывалась завязать с ней разговор, но ей тотчас же нужно было куда-то уходить. Наро-

чито обходили меня стороной и еще несколько девочек, хотя я с ними раньше не ссорилась. Но большинство одноклассниц были мне рады. Например, Натка Будницкая, с которой мы вместе выступали на смотре самодеятельности с басней «Ворона и Лисица». То есть выступала она, а я лишь изображала ворону с куском бумаги во рту, потому что сыр не выдержала и съела.

Натка была маленькая – мне по плечо, с темно рыжими тугими косичками, зимой все пять лет ходила в одном и том же зеленом австрийском пальто, полученном от родительского комитета. Но голос и дикция у Натки были необыкновенные, рассчитанные на величественную королевскую особу. И она страстно мечтала стать диктором на радио. Вот и в первый день она уже донимала меня новыми стихами, которые выучила за лето. Это были военные стихи Симонова и Луговского. У Натки было отличное чутье на талант и современность. А я в это время читала Надсона.

—Татка! – предложила она мне. – Пойдешь со мной в Дом Пионеров? Там кружок художественного чтения. Как ты думаешь, может меня возьмут, пока я двоек по математике не нахватала?

Потом был пионерский сбор. Как всегда, предлагали фамилии нескольких девочек, чтобы выбрать председателя Совета отряда, потом звеньевых, редколлегию и члена Совета дружины. Фамилии писала на доске наша пионервожатая

Лора из девятого класса. Среди них была и моя. Потом началось голосование. Лора считала поднятые руки. Получалось, что за меня как председателя Совета отряда, проголосовало большинство. Лора уже собиралась это объявить, как ее подозвала к себе наша новая классная руководительница, которая сидела на первой парте у окна. Они о чем-то пошептались, а потом Лора подошла к доске и стерла мою фамилию вместе со всеми голосами. В классе поднялся шум.

— Тише, ребята! – повысила голос Лора. – Таня Костенко уже два года подряд выбиралась председателем, а нужно, чтобы в пионерской работе участвовал каждый ученик.

Все стали на меня оглядываться. Я почувствовала себя так, как будто меня уличили в чем-то нехорошем, и щеки у меня запылали.

Председателем Совета отряда выбрали Жанну Терашкевич. Жанна была высокой красивой девочкой, которая любила посмеяться по любому поводу. До прошлого года у нее была другая фамилия, и пятерки в ее дневнике были редкими гостями. А в пятом классе у нее появился новый папа, полковник Терашкевич. Он сказал Жанне, что сделает из нее отличницу и почти сдержал свое слово: в таблице за пятый класс у Жанны стояли только три годовые четверки. Терашкевич очень гордилась тем, что новый папа каждый день проверяет ее уроки и иногда вырывает листы и заставляет переписывать домашнее задание даже по ночам. Многие за-

видовали тому, что у Жанны появился папа, но никто не хотел переписывать домашние задания по нескольку раз.

В конце собрания, когда выбрали весь пионерский актив, Клава Пасько удивленно спросила:

—А кто же без Костенко в редколлегии рисовать будет? Я заметки собираю, Ломберт переписывает. А заголовок? А карикатуры?

—А раньше, как вы устраивались? – спросила вожатая. Она тоже была у нас новенькой.

—Раньше Таня Костенко председателем Совета отряда была и нам помогала.

—Ну, мы и сейчас попросим ее помогать редколлегии. Это будет ее пионерское поручение в этом году. Согласны?

Все промолчали. А я только плечами пожала, даже не встала. Но Лора быстренько свое предложение сама и поддержала:

—Против никого? Значит, принято единогласно.

Натка не выдержала и фыркнула.

А я, оказывается, уже привыкла к двум красным полоскам на рукаве – знакам пионерского отличия. И теперь это обернулось для меня «знаками ранения самолюбия средней тяжести».

Мне было обидно, и если бы на меня так часто не оглядывались девочки с передних парт, я бы, может, и разнюнилась. Но тут моя новая соседка, у которой никогда не было ника-

ких поручений и нашивок, как бы между прочим сказала с восхищением:

— Ну и перочистка у тебя, Таня! Просто клумба с цветами! Даже жалко пачкать ее чернилами!

Я хотела ей ответить и запнулась. Вспомнила, что знаю ее только по фамилии – Ткаченко. И мне стало стыдно.

До сих пор мне как-то удавалось отогнать от себя мысль, что странные изменения в моей жизни связаны с какими-то папиными служебными неприятностями. Моя школьная жизнь со своими радостями и горестями, дружбой и ссорами существовала как бы далеко от папиного кабинета на улице Карла Маркса и машиной «Победа», на которой (а чаще – на «Козлике») он ездил по области в командировках. Мама появлялась в школе только на официальных классных собраниях, а папа забывал, в каком классе я учусь.

Свободное от уроков время я проводила с соседскими ребятами. Девочки – Мэра, ее сестра Фрида и Света Мамитько учились недалеко от нас в школе-семилетке. А мальчишки – в двадцать пятой мужской школе. Мои одноклассники жили в других городских районах. Повезло мне только с Ниной Книттер. Мы жили недалеко друг от друга, дружили в школе и были неразлучны после уроков. Все мои «уличные» приятели бывали у меня дома, играли в нашем саду и только Лизе это не нравилось.

— Твой отец большой начальник, а ты домой водишь кого

ни попадая. – говорила она. – Большие могут быть неприятности!»

— У кого?! – удивлялась я.

— У всех, – отвечала Лизавета, недовольно поджимая губы. – Ты думаешь, почему они хотят с тобой дружить?

Теперь, когда ко мне так странно изменились отношения некоторых девочек и учителей, слова Лизаветы уже не казались мне совершенно бессмысленными. Я отказывалась верить, что между мной и подругами могут быть такие отношения. И, конечно же, не могло быть и речи, что папа совершил что-то нечестное. Но, несмотря на это, во мне поселилась постоянная тревога и предчувствие беды. Приходилось жить в ее предвидении, как в ожидании грозы при виде далеких немых зарниц. Я чувствовала себя растерянной, как если бы меня раскрутили волчком, остановили, и я на время потеряла ориентацию, стала неуверенной, тревожной и даже физически неловкой.

Ночью мне стали сниться кошмары. Как будто я лезла вверх по бесконечной лестнице на какую-то высокую башню, а по стене ее карабкался за мной страшный горбатый карлик, изо рта которого торчал кривой зуб. Я все лезла и лезла, а он от меня не отставала. Лизавета будила меня и недовольно говорила, что я кричу и не даю ей спать.

А как волшеббно начинался этот год! Папу направили в Москву на учебу в партийную школу, и мы всей семьей приехали к нему и встречали Новый тысяча девятьсот пятьдесят второй год в маленькой комнатке тети Пани в коммунальной квартире недалеко от Минаевских бань на Сущевском валу. Со мной были папа, мама, тетя Паня с дядей Колей, старшая сестра и брат. Я отстояла себе спальное место на полу под столом, за что ночью была «вознаграждена» шишкой на темечке. Зато Новогодних подарков у меня оказалось больше всех. Но главным сюрпризом был билет на Елку в Колонный Зал Дома Союза. Там в каждом зале было особое представление. В одном – показывали мультфильмы, в другом выступал кукольный театр, в третьем были игры с затейником.

И еще я слушала «Демона» в Большом! После этого брат сказал, что никогда больше не возьмет меня с собой в театр. Потому что во время спектакля я так высовывалась из ложи, что чуть не вывалилась в партер, и ему приходилось то и дело хватать меня за платье. И это, собственно, все его впечатления от оперы!

До конца июня папа звонил нам каждую неделю и успел узнать, что я получила две грамоты – и в обычной, и в музыкальной школе. Мы ждали его возвращения со дня на день, но вместо этого как-то ночью позвонила тетя Паня. Всю следующую неделю мама собирала чемодан для поездки в Москву, кому-то звонила, куда-то ходила, а потом, закрыв-

шись в столовой, о чем-то долго говорила с Лизаветой. Наконец, пришла и моя очередь.

—Тата! – сказала мама, – у папы что-то со здоровьем и какие-то сложности с назначением. Я должна срочно выехать в Москву. Тебе придется провести август дома. Путевку в лагерь для тебя мне не дали.

—Но ведь я могу поехать с тобой!

Мама тяжело вздохнула:

—В том-то и дело, что не можешь. Так что ты остаешься на хозяйстве сама. Наши студенты на каникулы, очевидно, не приедут.

И тут мама крепко обняла меня и стала много-много раз целовать в голову, лоб и щеки.

Это было так необычно, что напугало меня больше, чем ее слова!

После отъезда еще недели две мама звонила мне с переговорного пункта (у тети Пани телефона не было). Потом нам почему-то отключили телефон, и мама стала писать письма. Но, как я ни старалась, из почтового ящика первой их всегда доставала Лиза и передавала мне уже вскрытыми, хотя клялась, что такими положил их туда почтальон. Узнав об этом, мама стала присылать обычные почтовые открытки. В них было написано почти всегда одно и то же. «Папа лечится в госпитале за городом, передает тебе привет. Не скучай. Мы все надеемся на скорую встречу. Целую – мама». Ну, и

какие-то бытовые советы.

Я тоже перешла на открытки, в которых писала только о том, что читаю, и как проходят мои занятия музыкой. Я подумала, что по какой-то причине и мои письма будут приходить маме распечатанными, и их могут читать чужие люди. Это было неприятно. Мысли о том, что папина «болезнь» затягивается не по медицинским причинам, я старалась отгонять от себя подальше. Но всем почему-то хотелось намекнуть мне, что папа слишком долго задерживается в Москве: и Лизе, и нашей новой классной, и соседям по переулку, и даже Лизаветиному дружку – милиционеру Сергею. И, конечно, все удивлялись, что мама оставила меня одну с домработницей. Но родственников в городе у нас не было, а Лизавета была хоть и вредной, но честной, и жила в нашей семье три года.

Мой папа имел два ордена Ленина и много боевых наград, воевал в Сталинграде вместе со знаменитым маршалом Чуйковым и на Курской Дуге с маршалом Рокоссовским. Сюда в Житин папу направили уже после войны, когда он демобилизовался. Работал он так много, что мы почти не виделись. Когда в области начиналась посевная, он все время ездил по колхозам и совхозам, и мы приходили повидаться с ним в его рабочий кабинет.

Но я уж знала историю продавщицы Маруси из гастронома, которую посадили «не за растрату, а за директора», и в тайне думала, а не случилось ли такое и с папой. «За ко-

го» у него неприятности? Ведь и о Марусе все знали, что она честная, а во время войны была пулеметчицей в партизанском отряде знаменитого Алексея Федорова. И награждали ее тоже в Кремле...

Единственной радостью сентября были уроки с Софьей Евсеевной.

—Чтобы услышать самое нежное пианиссимо, надо самой продлевать его внутри себя... Слушать... Слушать... Тянуть...

—Музыкант должен внутренним слухом стремиться к следующей ноте, ждать и желать ее обладания...

—Ты создаешь, строишь храм из трех голосов! Это Бах!

Я не спешила убежать после урока домой. Особняк в сиреневом саду теперь был домом только из-за того, что в нем жили любимые книги и пианино.

Наконец, мы принялись за Первый концерт. Софья Евсеевна подарила мне свои ноты и вложила в них листок, на котором каллиграфическим почерком написала:

«Концерты дают нечто среднее между слишком трудным и слишком легким; они блестящи, приятны для слуха, но, разумеется, не впадают в пустоту: то тут, то там знаток получит подлинное удовлетворение, но и незнатки останутся довольны, сами не ведая почему...» Вольфганг Амадей Моцарт

В прошлом году Софья Евсеевна аккомпанировала мне на уроках с завидной виртуозностью. Теперь же болезнь суставов сковывала ее пальцы, и она едва могла подыграть мне несколько тактов в басах. Не помогала ей наша знаменитая водолечебница с родоном и целебными грязями, не принесли облегчения компрессы. И у меня не складывалось полного впечатления обо всем произведении.

И вот я решилась и написала на радио в программу Концерт по заявкам радиослушателей просьбу передать Первый концерт Бетховена и теперь не пропускала ни одной ее передачи. Оказалось, что очень многие любят Бетховена и почти всегда в программе была какая-нибудь его соната, багатель или симфония. Концерты тоже просили исполнить, однако почему-то всегда пятый и второй. Но однажды мне повезло. Слушатель из Ташкента попросил исполнить концерт Бетховена C-Dur. Ведущий сказал, что это произведение было посвящено княгине Анне Луизе Барбаре... (далее я не запомнила) и впервые исполнял концерт сам Бетховен в Праге. Я была так обрадована, что потеряла голову и едва успела схватить ноты и пролистать вдогонку несколько страниц.

— Вижу, дорогая, ты под большим впечатлением, — заметила Софья Евсеевна, когда мы встретились на уроке. — А кто исполнял?

— Мария... Мария... — пыталась я вспомнить.

— Мария Юдина?

— Да-да!

— Тебе повезло. Это великая пианистка. Она долго не выступала в концертах.

— Из-за войны?

— Да, и не только. Но ты не разочарована, что мы выбрали *Allegro con brio*. Может, все-таки *Allegro scherzando* ?

— Не-нет! Именно первую часть!

— Чтобы летать по клавиатуре в арпеджио и гаммах? — засмеялась Софья Евсеевна.

Это она поддразнивала меня. У меня от природы были быстрые пальцы, и я обожала пробегать по всем клавишам в хроматических гаммах или арпеджио. Поэтому, когда я впервые увидела такие пассажи в нотах

Первого Концерта, то очень обрадовалась. Но теперь, конечно, после того как я разобрала весь концерт, а теперь послушала его в исполнении настоящей пианистки и оркестра, то первая часть нравилась мне не только этим.

— Третья часть, конечно, очень игривая, даже карнавальная, ее весело играть, — сказала я. — Но в первой, кроме веселого и радостного, есть и немного грусти, и чего-то задумчивого, и еще вот эти волны. Вот так бы и уплыл с ними куда-то. Нет, в первой части есть разные настроения, как в жизни, и мне это нравится.

В октябре Софья Евсеевна совсем слегла, и в музыкаль-

ной школе стала заниматься со мной сама завуч. Она была так занята организационной работой, что съедала принесенный из дома обед, сидя рядом со мной у рояля, и в особо эмоциональных местах дирижировала куриной косточкой.

Мне не хотелось расстраивать Софью Евсеевну, но, в конце концов, я совершенно отчаялась и отправилась за помощью и сочувствием на Бульварный переулок.

Меня встретила кузина пана Казимира. Она оказалась приветливой седой дамой в странном кухонном фартуке. Он был похож на очень короткий сарафан без рукавов с застежкой на спине. Софья Евсеевна лежала в кровати и читала книгу. На плечах у нее был серый пуховый платок, хотя в доме было очень тепло.

—Тата! Девочка! Как я рада, что ты пришла. Я уж подумала, совсем забыли меня, старуху! Ни один из учеников ни разу ко мне не заглянул!

Как, после такого вступления, я могла просить у нее помощи. Конечно, нет. Мы поговорили о Елиных гастролях, Аннусиных успехах и о том, что, когда погода установится, Софье Евсеевне непременно станет лучше.

О школе я сказала, что там все, как обычно, а учителя и ученики передают ей привет.

Кузина принесла нам чай, а когда возвратилась за посудой, деликатно намекнула мне, что пора прощаться. Я уже и сама это поняла, потому что добрая старенькая учительница моя к концу чаепития тихонько задремала.

Между тем, уроки с завучем проходили все хуже. Она постоянно куда-то отлучалась, а когда возвращалась и заставляла меня повторить уже сыгранные отрывки, я делала это безо всякой охоты, путаясь в аппликатуре и нотах. И так бесконечно. Делая мне замечания, периодически грозила изменить мне выпускную программу.

Наконец, терпение ее истощилось.

— Не знаю, о чем думала Софья Евсеевна! – с возмущением сказала она на одном из занятий. – Какой Концерт?! Кто будет за вторым роялем?! Сама Софья Евсеевна уже давно на сцену не поднимается!!! Я думаю будет правильно, если ты не будешь терять времени и возьмешься за сонату Гайдна.

Она положила передо мной толстый нотный сборник.

— Вот. Разбери последнюю часть фа-мажорной сонаты. *Allegro moderato*. Тебе в училище не поступать. В любом случае, без документов о семилетнем образовании туда не принимают.

Я не сдвинулась с места.

Год назад я бы с радостью согласилась играть любую сонату Гайдна. От них на душе становилось радостно и как-то правильно и хотелось непременно поделиться этим настроением с другими. И, конечно же, после «Консуэло» Жорж Санд я относилась к Гайдну совершенно по-особенному. Но сейчас... Сейчас я хотела играть только Первый Концерт Бетховена. В нем тоже было много праздничного, светлого и

веселого, однако в его пассажи нет-нет, но и врывались нотки тревоги и волнения. Совсем как в моей теперешней жизни. И мне казалось, что это написано Бетховеном как бы и в мою поддержку. Мол, у всех бывают нелегкие времена, но впереди непременно будет еще много радости. Представляю, что бы сказала завуч, если бы могла уличить меня в этих мыслях! И не только завуч. Поэтому мои отношения с Людвигом ван Бетховеном хранились мной в глубокой тайне, как и та уверенность, что выход из положения непременно найдется и менять мою выпускную программу не станут.

И действительно, в конце октября молодая преподавательница Ирина Алексеевна, которая когда-то училась у Софьи Евсеевны, передала завучу, что после зимних каникул выходит из декретного отпуска и готова сыграть со мной партию второго рояля.

Всякий раз я с большим трудом дождалась окончания урока с завучем, собирала папку и поздним вечером брела по Старому бульвару до Театра и Старинной красно-кирпичной водонапорной башни. Потом дорога круто спускалась вниз по Пушкинской улице, огибая городскую баню, и приходилось то и дело перепрыгивать через мутные потоки, похожие на снятое молоко. Спуск заканчивался у **особняка в сиреневом саду**, который уже переставал быть для меня домом и превращался во временное убежище.

--Тата!-- написала мама на днях. – Дядя Миша получил назначение в Житин и со дня на день приедет туда с семьей. Он будет очень рад, если ты поживешь с ними. Мы все тебя очень любим и надеемся скоро встретиться. Учись хорошо. Это очень важно. Целую тебя – мама.

Лизе она прислала отдельное письмо, которое оказалось не вскрытым, и денежный перевод.

Я спрятала под одеяло мамин халат, еще хранящий ее запах, и долго плакала, уткнувшись в него лицом. Лизы ночью не было.

Дядя Миша Мотыльков, близкий папин друг, стал после войны профессиональным военным, связистом. Год назад он приезжал навестить нас в Житин в майорском звании вместе с молодой, очень красивой женой Норой, похожей на испанку, и маленькой дочкой Лялей. Папа устроил себе выходной на целые сутки, и они с дядей Мишей весь день провели за столом, накрытым под старой яблоней-«цыганочкой». Сидели в обнимку и вспоминали, как в Сталинграде от гари пожаров даже летними днями было темно, как ночью. И как папа, уполномоченный Военным Советом, перед Курской битвой требовал у знаменитого генерала Мехлиса из резервной армии боеприпасы и обмундирование для каких-то частей Сталинградского фронта. Мехлис их не давал, кричал и хватался за кобуру. Но папа сказал, что напишет докладную

главнокомандующему. И что с места не сойдет, пока не получит для бойцов, переживших страшные Сталинградские бои, все, что нужно. И получил. А все думали, что его отдадут под трибунал и расстреляют. Старый большевик Мехлис был у Сталина на особом положении, хотя все знали, что военачальник он плохой, и из-за него погибло много моряков во время Керченского десанта. Так говорил папа.

Мужчины весь день провели в саду, а я с сестрой, Норой и Лялей ходили на речку. Замечательный был день. Все гости мне понравились. Но одно дело принимать знакомых у себя дома, а другое – жить с этими людьми в чужой квартире.

После маминого письма Лиза стала реже уходить из дома, зато Сережка-милиционер прямо-таки поселился у нас на кухне. Моих приятелей из соседних дворов Лизавета, по-прежнему, в гости ко мне не пускала. Впрочем, и при родителях она часто говорила моим друзьям, что меня нет дома, если они приходили без особого приглашения.

Папин кабинет и спальню мама перед отъездом заперла и отдала ключи Лизавете. Спали мы с Лизой в одной комнате. Я – на уже коротковатой мне детской железной кровати рядом с письменным столом, сделанным дядей Никитой в подарок брату в год Победы, и плетеной этажеркой для книг. Лиза – на высокой никелированной «конструкции» с блестящими шариками на торцах.

Над моей постелью, накрытой пледом, висела физическая

карта мира, а над Лизиной – коврик с оленями. Олень в центре был с большими рогами, еще один – с маленькими, а три остальных были чем-то средним между большеухими оленями и длинноногими зайцами.

Под кроватью у меня стоял ящик с осколками гранита и камешками, собранными на море (в четвертом классе я мечтала стать геологом). А у Лизаветы из-под кровати выглядывал большой остроугольный чемодан, похожий на сундук. Лиза не доверяла шкафам и хранила там всю свою одежду.

Я ничего не имела против нарядной Лизиной кровати с ярким лоскутным одеялом, накрытым розовым покрывалом, и четырьмя подушками – одна меньше другой (последняя называлась «думочка»). А вот Лиза искренне переживала, что я, «барышня из хорошей семьи», а у моей постели «нет никакого виду, а могла бы маркизетом *застлать* и *банты* повязать!».

В середине октября выпал ранний снег.

Лиза объявила, что угля и дров мало, и потому она будет топить только «грубку» (печку) в кухне, которая согревала кухню и нашу с ней комнату.

—А как же пианино?! – возмущенно спросила я.

—Пианину твою перетащим в *колидор*. Туда с кухни тепло *будет* идти, – непреклонно заявила Лизавета. – Там и будешь гаммы свои играть.

Пианино действительно перетащили в коридор. При этом

Лиза хотела и гостиную закрыть на ключ и упрятать его в свой карман, но я не дала. Ведь там была наша библиотека! Это же просто пещера Алладина! С какой полки книгу ни возьмешь, почти всегда она окажется интересной. А Лиза из вредности скажет, что ключ куда-то запропастился, и как я туда попаду? С ватманской бумагой, которая в кабинете хранилась, так и произошло. Лежит там на столе по милости Лизаветы и замерзает, а мы с Галей Ломберт еле-еле у завхоза пол листика выпросили для стенгазеты.

На следующий день после выпуска стенгазеты меня с середины урока физкультуры вызвали в кабинет директора. Там находились новый директор Нина Алексеевна, завуч Анна Ивановна и наша классная.

—Таня, – сказала завуч, – ты уже несколько месяцев живешь без присмотра родителей, и нам бы хотелось узнать подробней, как ты проводишь день.

—Так же, как всегда, – ответила я, пожимая плечами.

На новую директрису я старалась не смотреть. В эвакуации мы жили вместе с ней в одном доме в соцгородке при большом Уральском заводе. Тогда это была просто Нина – дочь папиного друга и подруга моей сестры. Теперь она приехала в Житин к родителям, потому что ее отец, дядя Алексей, стал замещать папу на работе.

—Что значит, «как всегда»? – уточнила наша классная.

—Уроки учу, хожу в музыкальную школу, читаю книги.

—Вот об этом давай подробнее: какие книги?

—Ну, много разных... Жюль-Верна, сказки Андерсена, про Гулливера. Еще называть?

—А почему так много иностранных авторов? А детские книги советских писателей у вас в домашней библиотеке есть?

Я уже поняла, что со мной затеяли какую-то нечестную игру, и воспользовалась уроками, преподанными мне хитрым «Слугой двух господ». Эту постановку Гольдони я часто слышала по радио. И я ответила, как можно просто-душней:

—Есть. Я про Васька «Трубачка» люблю. «Стожары»...

—«Васька Трубачева», – поправила меня наша классная.

—Ну, да. «Трубачева». Еще «Повесть о первой любви».

(Не скрою, с моей стороны это была провокация).

Учительницы переглянулись.

—Тургенева?— спросила завуч почти испуганно.

—Нет. Там в наше время мальчик и девочка попали в пургу и чуть не погибли. Об этом в школьной стенгазете написали. И они поссорились.

(Не стану же я говорить им, что повесть Тургенева прочитала давным-давно, и она, кстати, показалась мне скучной, а «Дикую собаку Динго» Фраермана я любила).

—А это правда, что на переменах ты рассказывала девочкам «Королеву Марго»?

Я пожала плечами.

— Да. Мы же про Варфоломеевскую ночь по истории проходили.

Учителя многозначительно переглянулись.

— А при родителях ты тоже сама книги для чтения выбирала?

— По-разному.

— И стихи? Вот поэта Надсона, кто тебе порекомендовал?

Мне даже смешно стало. Эту книгу подарила папе для меня одна старая большевичка, о которой говорили, что «она видела Ленина». Еще она передала мне красивый картонный портфельчик с замочком для хранения писем. Он долго был пустым, а теперь там хранились мамины открытки.

— А скажи, Таня, – продолжила завуч после неловкой паузы, – твой дядя-художник привозит вам книги, по которым учатся рисовать людей? Ты перерисовываешь из них картинки?

— Нет у нас таких учебников, – возмутилась я. – У нас «Сокровища Эрмитажа» есть и «Третьяковка». И ничего я не перерисовываю.

В учительской воцарилось долгое недоброжелательное молчание.

— Так вот, Костенко, – официальным голосом сказала, наконец, завуч Анна Ивановна, – с завтрашнего дня ты заведешь отдельную тетрадку для записи всего, что читаешь дома помимо программы. И будешь два раза в месяц показывать ее своему классному руководителю. А Надсона прине-

сешь мне в кабинет. Школьникам твоего возраста такие книги читать не рекомендуется.

И, вообще, при такой твоей безнадзорности ничего хорошего не получится.

Надо подумать, можешь ли ты жить одна без родителей.

Когда я возвратилась в спортивный зал, ко мне подошли Лида Ткаченко и Натка.

—Ну, что там инквизиторы с тобой делали? – спросила Натка. – Испанские сапоги надевали?

—Тише, ты! – шикнула Лида. – Домой пойдем, тогда и поговорим. А девчонкам скажешь, вызывали из-за того, что два раза опоздала в школу. Они не поверят, но это их забота.

—Ну, так зачем они тебя с урока сорвали? «Колорадский жук» за тебя волновался, даже из зала выходил, – начали свои расспросы девчонки, как только мы вышли из школы.

«Колорадским жуком» мы называли нашего учителя физкультуры, который носил странный спортивный костюм в коричневую клетку. Он достался ему, как и Наткино австрийское пальто, от родительского комитета. Мы все любили его уроки и с удовольствием участвовали в разных состязаниях. Я была членом школьной легкоатлетической команды и заслужила значок ГТО – 1 ступени за прыжки в высоту. Физкультурник, очевидно, боялся, что меня по какой-нибудь причине отстранят от соревнований.

—Спрашивали, какие книги читаю, почему о «Королеве Марго» в классе рассказывала,— ответила я неохотно. — Сказали вести дневник всего прочитанного и приносить на проверку классной. Еще узнавали, есть ли дома учебники по рисованию для художников.

—Это еще зачем? — изумилась Натка.

— Они не объяснили.

—С этим-то как раз все ясно, — прокомментировала Лида. — У Кривицкой вчера после уроков какой-то листок из учебника английского выпал. Классная взяла его, рассмотрела и покраснела вся. А Кривицкая говорит: «Я только что эту бумажку у последней парты подняла. Это, наверное, Костенко рисовала».

—Ну, а что там может быть? — спросила я изумленно.

—Тебе сколько — двенадцать? Ну и проста же ты, мать! — засмеялась Будницкая. — Я на год старше, но в твоём возрасте давно уже все понимала. А еще Шекспиров всяких читаешь!

—Брось, Натка! — остановила ее Лида. — Ты же сама точно не знаешь, что было на той бумажке. Но Кривицкая и Лисицина — та еще парочка. Они же переростки и двоечники. Если что, обе быстро из школы в ФЗУ вылетят. И о «Королеве Марго», скорее всего, именно эти девицы Классной и рассказали.

—Ты, Татка, только не вздумай ни с кем откровенничать о разговоре в учительской, — стала поучать меня Будницкая. —

Читаешь – сказки и про Гулю Королеву. Рисуешь – цветочки и стенгазету. Все. Больше ни о чем не распространяйся. Держи в классе рот на замке.

На том и остановились.

Наша тройца вместе дошла до Башни. Потом Натка повернула направо, а Лида проводила меня почти до дома, хотя жила в противоположной стороне от школы.

Я думала, что на следующий день обо всех этих глупостях забудется, но не тут-то было. Некоторые одноклассницы стали уже демонстративно меня избегать и обходить стороной, как будто я была заразная. Не все, конечно, но обидней всего было то, что среди них была Галя Ломберт. Я пошла к ней домой за своими акварельными красками, которыми мы рисовали газету, а она меня даже в дом не пригласила. Вынесла синюю коробочку «Невы», протянула мне и произнесла механическим голосом:

«Я, Костенко, газету с тобой выпускать больше не буду. Мама была в школе на родительском комитете, и ей сказали, что от тебя нужно держаться подальше».

Я коробочку из рук у нее взяла, раскрыла и медленно так на землю высыпала все любимые мои корытца с красками. Потом повернулась и пошла домой. Легла, не раздеваясь, на кровать и заснула. После этого я долго болела с высокой температурой. Даже Лизка испугалась. Детский доктор Деревянко сказала, что это, очевидно, опять мои гланды, которые по-

ра удалить. Но маме я писала, что все хорошо.

Натка и Лида приходили ко мне два раза. И мы играли в города и морской бой. Я долго ничего не ела. Не хотелось. А потом Натка принесла кусок черного хлеба с толченым салом и чесноком, посыпанный крупной солью. Мы стали кусать его по очереди. Я откусила и после этого у меня проснулся зверский аппетит. А вот возвращаться в школу мне первый раз в жизни не захотелось.

Вскоре приехал майор Мотыльков и увез меня на другой конец города, где его семья снимала комнату. Перед отъездом дядя Миша с другом упаковали наши вещи в ящики и отнесли их на мансарду. Квартира и некоторая мебель у нас были служебные, и вещей оказалось не так уж и много. В основном – книги. Кровати, шифоньер и письменные столы (папин и мой) отнесли в сарай. Пианино Циммерман осталось стоять на своем месте в белом чехле. Больше я на нем не играла. Из книг дядя Миша позволил мне взять мой любимый «Таинственный остров», и еще толстый том Шекспира и «Дэвида Копперфилда» – последние подарки от брата и сестры. А из нот только те, что нужны были мне для экзамена.

—Все остальное будешь брать в библиотеке, да и у нас кое-что найдется.

Дядя Миша и Нора снимали комнату в особняке, где жили

ещё две семьи. У всех жильцов было по одной комнате, а у хозяйки – две. Про нее говорили, что она «косметичка», хотя официально она работала в аптеке провизором. Нора в первый же день купила у нее баночку с каким-то невиданным «спермацетовым кремом» и каждый вечер мазала им свое смуглое лицо потихоньку от дяди Миши.

Комната наша была разделена ширмой на две неравные части. В маленькой стоял диван, на котором спали взрослые, и стояла Лялечкина кровать. В большой – шкаф, этажерка с книгами и круглый стол. Мне стелили постель на полу у стены на полосатом матрасе. Потом дядя Миша раздобыл «дачку», раскладную деревянную кровать.

Дня через три после моего переезда у дяди Миши был выходной. Нора с Лялей ушли погулять, а он усадил меня на диван и сказал:

—Таня, мне кажется, что тебе надо знать правду о том, что происходит с папой. Потому что все эти перемигивания и переглядывания за твоей спиной спокойствия тебе не прибавят. В Житин на прежнюю работу папа не вернется. Сейчас решается вопрос, где... (он запнулся) он будет работать. И это может долго решаться.

— А почему мама пишет, что он в госпитале?

— Папа действительно в госпитале. Ты же знаешь, сколько у него проблем со здоровьем.

— А он... а с ним не как с Марусей?

— С какой Марусей? – удивился дядя Миша.

— Она в гастрономе работала, а во время войны была партизанкой.

— И что?

— Кто-то в милицию написал, что она неправильно торгует, и ее арестовали.

Но все говорят, что она не виновата.

Дядя Миша встал, вынул папиросу из портсигара, но потом вспомнил о Лялечке и положил папиросу на место.

— Папа сейчас действительно лечится, и давай не будем ничего придумывать. Скажу честно, в городе нашлись люди... человек... который не хотел, чтобы твой отец после учебы сюда возвратился. Решил сам занять его должность. Заявление этого человека сейчас проверяют, правда там написана или он на папу наговорил.

Конечно, я уже догадывалась о чем-то таком. Но догадываться это одно, а узнать...

До этого года я не очень понимала, чем занимается папа и почему он так редко бывал дома. И никто не давал мне толкового ответа на эти вопросы.

— Твой отец все свои силы отдает восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, – говорил папин помощник Павел Петрович. Он всегда говорил так, будто стоял на трибуне и произносил речь.

«А другие что, не восстанавливают? – сердито думала я. –

Но дети видят их каждый день, а я своего папу – «по большим праздникам». Ответ Павла Петровича меня не устраивал.

Тут дядя Миша сел рядом, обнял меня и прижал к своей гимнастерке. Но я сидела, как замороженная.

— Ты, Танечка, знаешь, что папа твой человек очень смелый. Но тебе эта смелость кажется, наверное, такой... боевой, военной. Пулям не кланяется, перед врагом не отступает. И это, конечно, в нем есть, но главная его смелость – это готовность всегда принимать самостоятельные решения и за них отвечать. Уверяю тебя, что в мирное время так поступать иногда труднее, чем в военное.

Он замолчал, и стало слышно, как за окном пискнула синичка, улетающая от кормушки под сердитое ворчание толстого грудастого голубя.

— Принимать решения и не бояться отвечать, – повторил дядя Миша после паузы. – Отвечать за себя и за сотни людей, с которыми ты работал и кому доверял. Понимаешь, за сотни разных людей. И время показало, что он доверял им правильно. По большому счету ошибся только в одном человеке.

Только человек этот для твоего папы особый. Друг юности. И при любом раскладе я уверен, что «друг» еще расплатится за свое предательство или слабость муками совести.

Дядя Миша встал и принес мне стакан воды, которую я стала пить совершенно механически.

— Танечка, я догадываюсь, что в школе к тебе относятся не так, как раньше, и нет пианино, чтобы заниматься, но я что-нибудь придумаю, – продолжил он. – Обещаю. Ты только настройся на то, что все будет хорошо и скоро вы все будете вместе. Договорились?

Он еще долго что-то говорил о том, как мама и папа меня любят, и какие замечательные впереди времена, когда мы всей семьей вместе с ним, Норой и Лялочкой поедем к дяде Никите в Батурин ловить рыбу в реке Сейм. И он стал перечислять каких-то рыб: щук, карасей, карпов ...

Он так долго их перечислял, что я невольно стала о них думать, «разморозилась» и стала реветь в три ручья.

Человека этого... который на папу наговорил, я знала. Это был папин друг юности – дядя Алеша, герой-партизан, а дочь его Нина стала директором нашей школы.

Ночью мне не спалось. За ширмой, расписанной фигурами японок с веерами, тихо разговаривали Нора и дядя Миша. Нора сердилась.

— Одно взять к себе девочку, а другое ходить и хлопотать за нее во всяких инстанциях! Ты что, не помнишь, как полковник Воронов кричал: « Я сдохну, но до Сталина дойду и докажу, что Пашка Кузнецов – не враг!»? И что? Кузнецов в лагере, но жив, а Воронова через месяц расстреляли.

Ничего страшного не случится, если Таня пойдет в ФЗУ и не окончит музыкальную школу. Была бы здорова. Ты лучше о нас подумай. Если с тебя снимут погоны, куда мы денемся со своим **пятым пунктом**?! Мы и так еле-еле сводили концы с концами, а нас теперь не трое, а четверо. Кто готов будет поддержать евреев?

Я затаила дыхание. Неужели Нора верит в то, что в Советском Союзе могут плохо относиться к евреям?! Это так же нелепо, как верить в то, что все врачи-евреи лечат людей неправильно и берут у них кровь не для анализа, а для себя. Об этом, крестясь, говорила Лизавета, ссылаясь на своего друга-милиционера.

—Успокойся, Нора, и спи, – ласково, но твердо, сказал дядя Миша. – Все будет так, как я сказал. И все будет хорошо.

На следующий день Дядя Миша в полевой офицерской форме с портупеей через плечо и кобурой на боку появился в нашей школе и сразу направился в кабинет директрисы, которую с порога назвал просто по имени. Он ведь знал ее семью с довоенных времен.

Совсем хорошо после его вмешательства мне, конечно, не стало, но я уже не чувствовала себя совершенно незащищенной. Во всяком случае, школьное начальство больше не за-

тевало со мной официальных разговоров о «книгах сомнительного содержания» и переводе в «другое учебное заведение».

Вернулась «с картошки» * моя сестра-студентка и стала писать мне бодрые жизнерадостные письма. Она была намного старше меня. Когда я поступила в школу, сестра ее окончила и стала студенткой мединститута в другом городе. Мы виделись только на каникулах, но это был для меня праздник. В эвакуации на Урале сестра заболела туберкулезом и сражалась с ним, не сдавалась, до сих пор. Хотела бы и я иметь такой характер!

Брат делал приписки к маминим письмам. Советовал внимательно прочитать книгу Сергея Боброва «Волшебный двурог» и не запускать математику. Как вводу глядел!

Ни у хозяйки дома, ни у кого из жильцов пианино не было, так что готовиться к занятиям по специальности мне было не на чем. И Бетховенский концерт томился в темнице нотной папки.

Но вот интересно, когда я могла садиться за пианино в любое время и играть как угодно долго, оно по несколько дней проводило в одиночестве.

Музыку я любила слушать, а играть – только то, что нравилось. Не гаммы, во всяком случае. Мне редко случалось высидеть за инструментом больше полутора часов. Разве что при подготовке к концерту или экзамену. За разучиванием

этидов и фуг время тянулось ужасно медленно, и я крутилась на винтовой табуретке во все стороны. А вот теперь, мне ничего так не хотелось, как пробежаться пальцами по всем регистрам.

Обычно я просыпалась с какой-то музыкой внутри себя. Это могла быть какая-угодно мелодия. Какое настроение – такая музыка. Когда все было хорошо, оркестр внутри меня часто играл музыку к фильму о приключениях детей капитана Гранта. После того, как я переехала к дяде Мише, музыкальная программа внутри меня неожиданно свелась к тому, что я чаще всего слушала внутри себя отрывки из Бетховенского концерта. Не знаю, было бы так, если бы я могла играть его каждый день. Но в это время, когда я думала о хорошем, то звучала замечательно радостная и оптимистичная основная тема из первого Solo. А когда во мне накапливались невысказанные обиды, то вместо слов внутри меня «тихо, но хорошо заметно» (*p ma ben marcato*) дружно жаловались друг другу короткими музыкальными фразами правая и левая рука то в басах, то в верхах. Иногда все это продолжалось волнами грустных мелодичных пассажей через всю клавиатуру. И знаете, мне становилось легче!

Наконец мне разрешили выполнять домашние задания в музыкальной школе, в нашем маленьком концертном зале, когда там не было зачетов, репетиций оркестра и других мероприятий. Иногда приходилось ждать до глубокого вечера,

между делом выполняя обычные школьные уроки. Пятерок в моем дневнике стало меньше, особенно по математике. Но волновалась я не из-за этого.

С выпускной программой все было не так, как хотелось. В этюдах уже не выручала природная беглость, в полифонических пьесах – память о советах Софьи Евсеевны, а работа над концертом откладывалась до января.

В ноябре произошло чудо.

В нашу женскую школу пришел мальчишка из 25 мужской школы Герка и принес мне конверт, надписанный знакомым каллиграфическим почерком Софьи Евсеевны. Карандашная надпись гласила: «Танечке Костенко из шестого класса. Буквы я не помню. Ты, пожалуйста, уж сам разберись, дружок».

«Дружок» нашел меня без проблем. Он заглядывал во все шестые классы во время урока и, размахивая конвертом, орал: «Танька Костенко у вас учится? Ей письмо!» Никто из учительниц, пораженных его наглостью, не сказал ему ни слова. И только, когда мальчишка вышел в коридор, слышно было, как уборщица тетя Глаша закричала ему вслед: «Почему галоши не снял, ирод? Вот я тебя сейчас тряпкой!»

Учительница географии хотела письмо у меня забрать, но я его не отдала. Объяснила, что оно от моей учительницы по музыке и спрятала его в рукав формы. Мой образованный брат-философ рассказывал, что в древнем Китае функ-

цию карманов выполняли рукава, и в них переносились даже важные документы. Это знание мне пригодилось, потому что в форменном платье карманов не было, а в фартуке был, но слишком маленький.

«Дорогая Таня, – писала Софья Евсеевна, – передаю тебе свой пригласительный билет на концерт в музыкальном училище. К своим родственникам приехал Елин друг детства, теперь знаменитый пианист Святослав Рихтер. Он будет играть сонаты Бетховена. Я знаю, как это важно для тебя, милая моя девочка.

А у меня не ходят ноги, и я все лежу и слушаю музыку по радио.

Так хочется опять посидеть за роялем, но это, как Бог даст.

Твоя учительница – Софья Евсеевна».

Были первые дни настоящего «предзимья», наступающего в ноябре. Невесомые ажурные снежинки грациозно вальсировали в воздухе, нежно подхваченные своим кавалером – северным ветром. Тускло горели уличные фонари. К зданию Музыкального училища со всех сторон по одному, по двое неторопливой поступью шли очень пожилые, пожилые и просто взрослые люди. Шли молча, как будто излишняя суэта и дисгармония несогласованных звуков могли потревожить ожидаемое чудо.

Здание окружали каштаны, похожие на вышколенных слуг в потраченных временем коричневых кафтанах, с оторванными пуговицами – круглыми и глянцевыми, похожими на влажные агаты.

Я стояла за углом здания в неприлично коротком голубом суконном пальто с воротником, отделанным синим бархатом. Берет (все из того же мамино довоенного платья, что и отделка) намок и обвис.

Когда мне показалось, что здание училища уже поглотило всех приглашенных на концерт, я вышла из своего убежища и направилась к двери. И в этот момент подъехала старинная машина с широкими подножками. Рывком открылась передняя дверца, и молодой человек в черном пальто с непокрытой головой шагнул изящным ботинком на влажные плиты тротуара. Вслед за этим распахнулась дверца заднего сиденья. Молодой человек протянул руку и помог выйти из машины Старой Даме в темной шляпке на седых волосах. А навстречу им уже спешили какие-то люди, пошире распахивали двери училища, предупреждали о ступеньках, объятые единым порывом помочь, услужить а, может быть, просто оказаться замеченными.

Немного выждав, я проскользнула внутрь, показала гардеробщице узенькую полоску пригласительного билета, напечатанного на пишущей машинке, и, получив номерок, тихонько вошла в зал. Там было сумеречно. Ярко освещалась

только сцена с роялем. Все кресла маленького помещения были заняты, и только у самой сцены оказалось свободным одно приставное место. На нем я и устроилась, поджав под себя ноги в мокрых ботинках.

В зале долго стояла почти полная тишина. Он вошел в него с моей стороны и стремительно взбежал по ступенькам на сцену. Теперь весь зал вздохнул, как один человек, а потом раздались аплодисменты.

И я сразу же узнала Его! Того мальчика, а потом юношу, фотографию которого я так часто рассматривала на стене у Софьи Евсеевны. Друга детства её дочки Ели. Тот же высокий и широкий лоб, мощные плечи, гибкая спина и длинные руки с сильными пальцами.

Аплодисменты постепенно стихли, а Он продолжал сидеть, откинувшись на спинку стула, с запрокинутой головой и упавшими вниз тяжелыми руками.

«Неужели забыл?!» – с ужасом подумала я, вспомнив свой первый опыт выступления в этом зале со «Смелым всадником». – И ноты не поставили!

Но вот Он выпрямился, и пальцы коснулись клавиш. Нежное арпеджио, всплеск волны, потом суетливая рябь, опять нежный накат волн и вот уже поднимаются и сталкиваются между собой водные валы (Соната №17 «Буря» – узнала я). Потом была еще одна, незнакомая мне соната, и после нее

– «Патетическая». Уже после первых её аккордов со мной произошло что-то необычное. Я слушала знакомую музыку, но не думала ни о жестоких курфюстах, ни о страданиях Бетховена, ни о бедной моей учительнице, ни о своих печалях. Красота того, что звучало, перестала быть для меня иллюстрацией к причудам природы, биографии композитора или моего настроения. Меня окружила какая-то особая материя, сотканная из звуков, и я внезапно попала внутрь нее! И что-то во мне ответило этому трепетным восторгом. Было так пронзительно прекрасно, что хотелось плакать. Все объединилось, для того, чтобы я пережила это откровение: музыка Бетховена, особый талант пианиста и чуткость моей подростковой души.

Концерт Святослава Рихтера длился годы и мгновение одновременно. И я плохо помню, как толпа вынесла меня на улицу.

Следующим моим впечатлением было видение Пианиста, который вел под руку Старую Даму с молодыми глазами. И первый снег таял на нимбе Его золотых волос.

И вдруг случилось непредвиденное. Я столкнулась с Ириной Алексеевной, и мы оказались на Его пути. Он задержался, и молодая учительница, прикрываясь мной, как спартанцы щитом, вдруг сказала, очевидно, неожиданно и для самой себя:

— Святослав Теофилович – это наша самая молодая вы-

пускница школы. Ей двенадцать, и она готовит к экзамену Первый концерт Бетховена.

Старая Дама посмотрела на меня с благожелательным интересом.

—С оркестром? – спросил Пианист.

—Нет, со вторым роялем, – почти прошептала я. – И только первую часть.

—Allegro con brio... (весело, с размахом) Технически довольно сложное произведение. И по внутреннему содержанию вещь глубокая. Много интересной работы. Поздравляю. Много занимаетесь?

Я онемела.

Он положил мне руку на плечо и сказал, по словам Ирины Алексеевны:

—Не меньше трех часов. Не меньше! И обязательно для себя играть все три части концерта. Хотя бы по нотам.

А я...я запомнила только тяжесть и теплоту его руки.

Софьи Евсеевны не стало сразу же после Нового года. Но меня к ней так ни разу и не пустили, и о том, что со мной случилось на концерте Святослава Теофиловича, она не узнала. А больше мне некому было рассказать об этом.

В постоянных простудах, которые переносились мной на ногах, я дотянула до весны. Но тут мне стало совсем плохо. У меня начался какой-то нескончаемый насморк, и постоян-

но болела и кружилась голова. Сердобольная хозяйка порвала на небольшие лоскуты старую ситцевую простынь, и я использовала их, как одноразовые носовые платки.

Мои постоянные болезни не могли не раздражать бедную Нору, которая была всего лет на десять старше меня. К тому же хороших вестей из Москвы не приходило. И ее терзал постоянный страх, что участие в моей судьбе скажется и на благополучии их семьи. Мне казалось, что я все время нахожусь как бы в полусне: в школе на уроках, на занятиях музыкой, и просыпаюсь только, когда после дежурства приходит дядя Миша.

У нас в семье считалось, что я пользуюсь особой папиной любовью. Ведь я была самой младшей, родилась перед самой войной. Но мы так мало времени проводили вместе, что мне и в голову не приходило на его обычный вопрос «Ну, как жизнь?», отвечать серьезно. Да, по-моему, он и не ждал подробного ответа. А вот дядю Мишу хватало и на своих подчиненных, и на свою семью. Его приход после дежурства для всех был не только радостью, но и огромной помощью. Нора отстранялась от стирки и мытья посуды, Ляльке рассказывались на ночь смешные и добрые сказки. Хватало любви и внимания мне. Он поил меня горячим гоголем-моголем, укутывал на ночь шерстяным платком, а я шепотом рассказывала ему о своих школьных новостях. Майор Мотыльков терпеливо выслушивал меня, раз и навсегда запретив Норе

вмешиваться в наш разговор. И после этого груз моих печалей становился гораздо легче, и даже волдыри от укусов ужасных клопов, против которых круглые сутки велись сражения всеми жильцами дома, почти не чесались.

А в марте тысяча пятьдесят третьего года случилось то, что, казалось всем, не могло случиться никогда! Умер Сталин!

—А Костенко даже не заплакала, — доложила нашей классной Кривицкая, которая по-прежнему в своих неприятностях продолжала винить меня.

—Это ты не плакала! — возмутилась справедливая Натка. — Я видела, как ты водой глаза мочила. А Татка вообще никогда не плачет. У нее характер такой.

Я действительно как-то не очень переживала все случившееся.

Теперь меня больше беспокоил не всенародный траур, а то, что Мотыльковы переезжали в другой город, и я оставалась совсем одна.

Дядя Миша договорился с хозяйкой, что до конца учебного года и выпускного экзамена в музыкальной школе, она будет меня кормить. А потом он обещал приехать и забрать меня к себе.

На следующий день после похорон Сталина я проснулась

ночью и увидала: на столе стоит бутылка водки и два уже пустых стакана, а Нора и дядя Миша обнимаются. Она плачет и говорит: «Наконец-то! Пусть они хоть на небе порадуются!». А дядя Миша в ответ: «Только не спеши, родная, эту свою радость на людях показывать. Злодеев много, и до расплаты с ними еще далеко».

Мне вспомнилось, как после приёма в пионеры мы с Ниной ползали по скалистым берегам Тетерева, отбивая молотком куски гранита с разноцветными вкраплениями. «Занимательная минералогия» академика Ферсмана позвала нас в геологи! Чтобы отколоть пластинки черной слюды, я спускалась с высоченного отвесного скального края на едва заметный выступ, держась за полотенце, в которое Нинка вцепилась мертвой хваткой, лежа на животе и бесстрашно пачкая новенький фартук.

— Татка, – спросила Нина, когда я вскарабкалась наверх с ободранной щекой, – а ты могла бы броситься отсюда вниз за Сталина?

— Ну, конечно! – ответила я, ни секунды не помедлив.

С тех пор прошла половина моей до пионерской жизни, и готовность бросаться со скал за кого бы то ни было меня окончательно покинула. Во втором классе я, надо полагать, думала, что кинувшись вниз полечу птичкой. Теперь мой жизненный опыт был гораздо богаче. Я уже знала, что

спрыгнув с веранды столовой в Евпаторийском лагере, Витя из пятого корпуса не превратился даже в воробушка, а заработал сотрясение мозга и пребывание в карантине до конца смены. И еще меня уже давно удивляло то, что со Сталиным связаны одновременно и всенародная любовь, и всеобщий безотчетный страх. В четвертом классе одна девочка написала на доске слово Сталин неправильно. Учительница ошибку заметила не сразу, а когда обнаружила, то ей стало плохо. Прибежала завуч и велела всем выйти из класса, чтобы самой без свидетелей вытереть доску и написать «Сталин», как надо. Разве можно так панически бояться того, кого любишь? Я понимала, что у меня в чувствах к Сталину происходила какая-то путаница, но говорить об этом со старшими, даже родителями, почему-то не хотелось.

Был май. Любимый месяц моей мамы. Каждый год папа старался в день ее рождения поехать с нами за город. Собранные там полевые цветы потом долго стояли в комнатах в стеклянных вазах и глиняных кувшинах. Некоторые из них так и оставались неувядающими на этюдах маминого брата дяди Вани, который был живописцем и специально в этот день приезжал из Ленинграда.

И вот я после школы вдруг решила навеститься в Студенческий переулок и посмотреть на мамины любимые сирени. Но сил у меня хватило только дойти до бульвара. Меня очень знобило, болела голова, и я решила передохнуть на скамей-

ке. Села на нее боком, положила руки на спинку, опустила на них голову и закрыла глаза.

Я, наверное, задремала, потому что не услышала, как кто-то присел рядом. Этот «кто-то» долго не решался побеспокоить меня. А когда решился и тронул за плечо, солнце уже не стояло почти в зените, а пряталось за верхушки серебристых тополей. Я выпрямилась и посмотрела на соседа. Это был чем-то очень знакомый мне взрослый мальчик со смешным кучерявым чубом, зачесанным на одну сторону.

—Ты Таня, да?

Я отодвинулась.

—А я Гена Мищенко. Я в двадцать пятой школе учусь, в девятом классе. Твой брат меня знает. А мы тут живем. Вон дом за твоей спиной. Пойдем к нам в гости. Видишь, моя мама в калитке стоит, нас ждет.

Я попыталась подняться, но не смогла, потому что в глазах у меня потемнело. А когда очнулась, то обнаружила себя на деревянной кровати, накрытой чем-то мягким и теплым.

—Мама, Таня глаза открыла! – закричал мальчик. – Ну, когда же придет Борис Соломонович?!

—Таня, Танечка! – сказала женщина, которая тотчас же появилась в комнате с чашкой чая. – Сейчас, сейчас придет доктор. Ты его знаешь. А я Генина мама. Я в гости к вам приходила... И папу нашего ты знаешь – Виктора Павловича. Он на сельхоз выставке поросят тебе показывал.

Если на Земле есть Рай, то я попала именно туда. И ангелом там служил большой мальчик Гена. Он нашел дядю Мишу, помог ему перенести мои вещи, отнес в обе школы справки о моей болезни и превратился в бессменную и бессонную мою сиделку.

Милый славный Борис Соломонович, знавший меня с детства, смирившись с тем, что я категорически отказалась ложиться в больницу, чуть ли не каждый день приходил к Мищенкам с пузатым врачом саквояжем. У меня оказался запущенный бронхит и фронтит*.

За две недели до экзаменов Мотыльковы выехали из Житина. С Норой и Лялечкой мы так и не увиделись, а дядя Миша перед отъездом принес мне два лимона и долго совещался с Виктором Павловичем, как они будут поддерживать связь. Теперь я оставалась не только без мамы и папы, но и без дяди Миши.

Поскольку Гена тоже должен был готовиться к своим экзаменам, он убедил всех, что будет лучше, если мы будем заниматься вместе в той комнате, куда поселили меня. Там его меньше будут отвлекать его любимые «игрушки» в виде неисправленных утюгов, электрических плиток и прочего, на мой взгляд, ненужного хлама.

Занимались мы так: я дремала на диване, а он читал текст моего очередного билета и искал в учебнике ответ на него.

Своих книг он почти не открывал.

Семья и дом, в котором я очутилась, были полны тайн и загадок, под стать сюжетам Диккенса.

Дом состоял из четырех небольших комнат, в которых всегда царил полумрак. Окна плотно занавешены, а вечером закрыты ставнями. Исключение составляла мастерская Генки, потому что иначе это помещение не назовешь: везде мотки проволоки, каркасы от разобранных радиоприемников, дырявые шины от велосипеда и ящики с обрезками металлических пластин и всяческими инструментами. А на самодельных книжных полках подшивки «Техники-молодежи» и «Вокруг света».

Первыми утром вставали Виктор Павлович и Гена. Открывались ставни, начиналась возня на кухне, где разжигалась плита, и готовился завтрак. В большом вмурованном в плиту котле грелась вода, чтобы мы с Мариной Викторовной могли помыться теплой водой (Генка и его папа мылись холодной).

Виктор Павлович был высоким статным мужчиной. Его довольно длинные выбеленные сединой русые волосы падали над лбом двумя крыльями, доставая до уголков немного выпуклых серых глаз. Полная противоположность невысокому, черноглазому и черноволосому майору Мо-

тылькову.

У Виктора Павловича была замечательная улыбка, которая редко исчезала с его лица. А вот мама Генки никогда не улыбалась и казалась загадочной заколдованной королевой. Она вставала с постели уже после того, как Виктор Павлович убежал на завод, где работал инженером,

и шла умываться, одетая в длинный халат, похожий на японское кимоно. После этого Марина Викторовна возвращалась в спальню, где ее уже ждала чашечка крепкого кофе, приготовленного Генкой.

И пока мы с ним занимались по своим экзаменационным билетам, Генкина мама раскладывала пасьянс на специальном столике у себя в комнате.

За час до прихода Виктора Павловича она накрывала стол к обеду. Стол был сервирован, как в старых немых фильмах про аристократов. Первое подавалось в овальной супнице, перед каждым стояло две тарелки – глубокая и плоская. Нож и ложка лежали справа, вилка – с левой стороны. И салфетки! Белые салфетки с вензелями, только что не в кольцах, а просто сложенные треугольником.

Меня Марина Викторовна поила кирпично-коричневым бульоном из курицы в морковном соке, которым, по её словам, когда-то «выхаживали дворянских детей». Я пила его, как чай.

На третий день моего пребывания в семье Генки пришел настройщик, и я стала садиться за старенькое Мюллеровское пианино.

Над моей кроватью висел портрет девушки в голубом платье с букетом незабудок в руках. Она была очень красивой и чем-то похожей на Генкину маму. Но лицо ее было, как маска: оно не выражало никаких чувств. Я сразу же подумала, что портрет делал очень плохой художник.

—Это твоя мама в молодости? – спросила я.

—Нет. Это портрет Нади, моей старшей сестры, – ответил Генка неохотно, – только ты маму о ней не расспрашивай. Сестра погибла в эвакуации при пожаре в Чкалове. Мама после этого долго болела и даже меня не узнавала. У нее и сейчас не все в порядке с памятью. Иногда она говорит: «Скоро Надюша приедет». И начинает делать в доме генеральную уборку. Потом ей делают укол, и она долго спит. Когда просыпается, то ничего не помнит. Папа объясняет маме, что у нее была сильная мигрень, и она в это верит. Доктора говорят, что против мигрени есть только одно средство – три «Т»: тишина, темнота и теплота. Поэтому в нашем доме так сумрачно, тихо и тепло.

А картину написал один знакомый с фотографии. Эх, не надо было мне обо всем этом рассказывать. Теперь ты будешь бояться спать под этим портретом.

И я боялась.

К сожалению, в школе чуда не произошло, и экзамены я сдала лишь с пятерками по русскому письменному и устному. Хорошо, что остальные не завалила. На обычный классный праздник по случаю окончания учебного года я не пошла. И за моим табелем был послан Генкин папа. Возвратившись домой, он так шумно поздравлял меня с переходом в седьмой класс, что забыл, куда положил этот документ. Решили отложить поиски табеля на потом и сразу же сели пить чай.

Но благородный мой рыцарь Генка так легко не отделался и получил в девятом классе переэкзаменовку на осень по русскому языку, о чем, кстати, совсем не сокрушался. Мало того, я не слышала ни одного слова упрека в его адрес ни от папы, ни от мамы.

Теперь началась моя активная подготовка к выпускным экзаменам в музыкальной школе. Ирина Алексеевна составила свое расписание так, что мы имели возможность регулярно играть концерт один раз в середине недели и обязательно по воскресеньям. Она была одной из первых учениц Софьи Евсеевны, а я – последней. И нам обеим очень хотелось что-то сделать в ее память, хотя вслух мы об этом не говорили.

Ирина Алексеевна была прекрасной пианисткой, и мне приходилось прилагать все усилия, чтобы сольная пар-

тия («solo») соответствовала в красках и выразительности «tutti» (полному звучанию). А красок было так много! Легко игривое и поэтичное начало. Потом лирическое раздумье. И такие внезапные переходы нежнейшего пиано в мощное фортиссимо и наоборот!

В гаммообразных пассажах я летала как вихрь, но там, где левая и правая рука сменяли друг-друга никак не удавалось избежать «швов», «стыков», как я называла чуть заметную разницу в силе и глубине звука. А Софья Евсеевна говорила, что Бетховен требовал, чтобы в легато не слышно было даже перемены пальцев. Много трудностей было с аккуратным использованием педалей. И, конечно, было так обидно заменять маршевые аккорды гаммой! Но руки были маленькими и растяжки не хватало.

Кроме того, хотя я давно знала свою партию наизусть, в дуэте с Ириной Алексеевной часто терялась и расходилась с ней в темпе. Но, не смотря на все эти проблемы, долгожданная работа над концертом придавала мне сил.

По возможности, я старалась слушать воскресные радио-концерты, надеясь, что услышу Первый концерт в исполнении настоящего пианиста да еще и с оркестром. Два раза объявляли, что исполняется Концерт Бетховена до мажор. Я замирала от счастья, но играли только третью часть! *Allegro scherzando* (Весело и шутливо)!

И тут за несколько дней до выступления Борис Соломоно-

вич привел с собой лаборантку, и у меня взяли кровь на анализ. Получив результаты, доктор очень расстроился и сказал Генкиным родителям, « что с таким РОЭ, лейкоцитами и гемоглобином меня нужно класть в больницу немедленно, и непонятно на что он, старый осел, надеялся!»

Испуганный Виктор Павлович успел только сказать «Танечка, а может экзамен можно...», как у меня стало темнеть в глазах. И тут, не поверите, позвонила мама! Мамочка моя позвонила!

Мы говорили, наверное, целый час! Генкин папа заглядывал в коридор, где стоял телефон, и, улыбаясь, шептал: «Говори, сколько хочешь. Вызов от нас!»

С папы сняли несправедливые обвинения! Скоро мы будем все вместе! Такое счастье!

Экзамен проводился не в помещении музыкальной школы, а в том зале музыкального училища, где в ноябре играл Святослав Теофилович.

И я села за инструмент, которого касались его руки.

За вторым роялем была моя добрая фея Ирина Алексеевна. Она сама так волновалась, что стала белее «газового» шарфика, который украшал ее концертное платье. Концы шарфа были скреплены... камеей Софьи Евсеевны.

Вот, наконец, Ирина Алексеевна кивнула мне головой!

105 тактов ожидания... Мы обмениваемся взглядами.

Я поднимаю руки с колен. Я опускаю руки на клавиатуру, и фортиссимо вступления на втором рояле сменяется моим Solo с главной темой, – « *p con espressione* » («тихо и выразительно»). И я не «барабаню» по клавишам, я бережно касаюсь их, извлекая из глубины инструмента волну звуков, полную лучезарной радости, которую непостижимым образом познал и передал нотными знаками композитор с горькой земной судьбой. И мне вторит tutti в прекрасном диалоге поддержки и понимания.

И пусть я поднялась невысоко, я чувствовала всем своим существом, что нахожусь у истоков тех невидимых потоков, где незабываемой осенью пятьдесят второго года встретились Бетховен и замечательный пианист Святослав Рихтер. Там, где возвышенные чувства композитора и того, кто исполнял его произведения, переплавились в высокую музыку. И это было так прекрасно – оказаться пусть и на мгновение, но в тех же потоках!

Наконец двадцать девятая страница, длинная триоль, партия второго рояля и Кода!

Вечером в Генкином доме устроили настоящий праздник на мою честь. В столовой и на пианино стояли вазы сиренью, во дворе шумел самовар. А я... Я упала на постель и, как при

первом знакомстве с этим добрым Домом, надолго уснула, прямо как принцесса из волшебной сказки.

Все, что происходило потом, я помню очень смутно...

А когда я окончательно очнулась, то увидела себя в большой светлой комнате. Я сидела на ковре перед целой пирамидой из книг, которые нужно было расставить на пустых полках книжных шкафов. Большие чисто вымытые окна были без занавесок, и солнце щедрой позолотой покрывало липкие от свежей краски широкие подоконники и натертые до зеркального блеска медовые планки паркета.

В комнату вошла мама, моя МАМА! и поставила перед собой милую смешную девочку Наташку, нашу теперешнюю соседку. Мы стали разбирать книги вместе, и Чуча, так прозвали мою новую подругу во дворе, принялась рассказывать о своей Киевской школе и девочках, с которыми мне предстояло вместе учиться. И представьте! Среди них была и Люба Диденко, которая когда-то в евпаторийском лагере сказала: «Если бы у нас был цветик-семицветик», мне бы трех лепестков хватило, чтобы загадать заветные желания: с Таткой в одном городе жить;

с Таткой в одной школе учиться;

с Таткой на одной парте сидеть!

И вот все это сбывалось.



Мальчик со скрипкой. Скульптура О.Шаркова